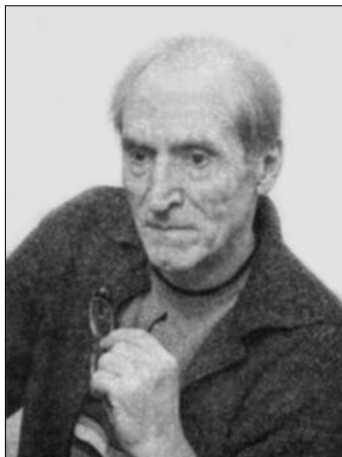


ОЛЕГ ЖДАН



ГЕНИЙ

ПОВЕСТЬ

Этот апрельский день начался для него так же отвратительно, как все другие. Во-первых, в автобусе какой-то дружелюбный мужичок раза в два старше уступил место: “Садись, дед”, а когда протолкался перед остановкой ближе к двери, кто-то пихнул в спину: “Эй, пацан, сходишь ты или нет?..” Во-вторых, вахтерша на проходной так долго изучала пропуск, сверяя фотокарточку с натурой, поглядывая на его козлиную бородку, что он не выдержал, поднял руки, как копытца, и заблеял, подтверждая сходство. В-третьих... Чтоб добраться до завода к половине восьмого, нужно подняться в шесть, и он в самом деле чувствовал себя кем угодно, только не человеком.

Месяц назад завком поручил ему написать портреты передовиков для Аллеи трудовой славы. Работа простая, если — с фотокарточек, как было заведено до сих пор. Но в том-то и дело, что он не мог без отвращения глядеть на такие портреты, где слесари, грузчики, фрезеровщики запечатлевались “на века” надутыми и важными, как члены правительства. В конце концов, если серьезно, каждый из них стал “передовиком” не из-за обезьяньей любви к труду. У каждого на то своя причина. Один от жадности, другой от молодости и избытка силы, третий от стремления угодить начальству, четвертый от врожденной старательности, пятый... Нет загадок в этом мире, все можно объяснить.

Он ходил по участкам, приглядываясь, делал эскизы, пробы, сверяя, как та вахтерша в проходной, натуру и фотографию. И вот работа закончена, сегодня — сдача. Вынес портреты из мастерской — комнатки, которую ему

ЖДАН Олег Алексеевич родился в 1938 году в Смоленске. Окончил историко-географический факультет Могилевского пединститута, Литературный институт им. А.М. Горького, Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Автор многих книг. Член Союза писателей СССР, член Союза писателей Беларуси. Живет в Минске.

выкроили в красном уголке, расставил вдоль стен, еще раз рассмотрел их и остался, в общем, доволен. В лицах были и смысл, и правда, а все вместе они — вполне бессмысленная человеческая жизнь.

Хотите — осмысленную? Тогда вы ошиблись адресом. Каждый настоящий художник пишет такую, какой живет сам. Бессмысленная ведь не значит — без содержания. И это в человеке главное, за что его можно уважать или презирать.

Непростая задача стояла перед ним, но он справился с ней. Как? Этого он не знает.

Здесь же, в красном уголке, находилась библиотека, и Лена, библиотекаряша, девочка, только что закончившая училище, была первая, кто увидел его работу.

— Ой, Тришенька, — сказала она, — ты — гений.

Он улыбнулся: это было так, и он знал об этом с рождения.

— Хочешь, напишу тебя?

Однако Лена покачала головой — задумчиво, с сомнением.

Тоже понятно: он узнает о ней нечто такое, чего не знает или не хочет знать сама. А зря. Люди не видят себя со стороны, стремятся соответствовать некоему придуманному или чужому облику — тут и возникает напряжение, которое мешает жить. Понимает она себя как хорошенькое, умненькое, нужное всем и каждому, смеленькое существо... А увидит незначительного человечка, испуганного своим явлением на белый свет, согласного прожить без счастья, довольствуясь зернышком, росинкой, — только бы не улопокали, толпой не гнали. Для таких и придумали фотографию: острый носик, нежный взгляд — вот и утешение на всю жизнь. Или — смелый, умный, целомудренный. Или — смелый, умный, развратный. Печальный. Неприступный. Влекущий. Многого можно выразить, если приготовиться и собраться. Все доступно на один раз.

И самая дорогая фотокарточка — где тень ресничек запечатлелась на юной щеке.

Выражения эти она будет тщательно копить, совершенствовать и аккуратно складывать в альбом — гербарий ее девичьей жизни. Там они будут храниться долго, никому не нужные, кроме самого собирателя. Вот какая я была. Только с остреньким носиком ничего поделать нельзя — замерзающая синичка притаилась в окне.

Лена уже испуганно глядела на него.

— Ты что, Триша, ты что?..

Скрылась в своей библиотеке, забила, как мышка, меж книг. Но — поздно. Это мгновение и остановит он. Наколет, как насекомое, на булавку. Ничего люди не хотят знать о себе, ничего.

До комиссии оставалось два часа. Как раз хватит, чтобы расправиться с ней, ничтожной и жалкой. Не так безобидны эти испуг и скромность. Пройдет время — из самозащиты превратятся в оружие. Сколько он повидал таких, с приметамы былой скромности на лице.

“Ты, разумеется, гений, Трифон, — говорил, к примеру, скромный человек, который предал его впервые десять лет назад и с того времени предавал всегда, постоянно. — Но все, что ты делаешь, отвратительно, мерзко. Мир, как ты его понимаешь, не мог бы существовать. У Босха был Христос, а у тебя?” — “У меня — я”, — отвечал Тришка.

Легко и быстро ложился линии на бумагу. Не заметил, как утекли два часа, и комиссия вошла в красный уголок.

Этот дар или несчастье, вывих, а может, и тайная болезнь появились у него не в первом классе, когда учительница, вдруг засуетившись, спросила: а кошку можешь нарисовать? А собаку? А елочку? И не в детском саду, когда воспитательница с недоумением разглядывала его мазню, а мать стояла рядом и стыдливо кивала головой: что тут сделаешь, кое-как объясняла, он с этим вывихом родился, а правильнее — зародился. Она, как только забеременела им, Тришенькой, сразу почувствовала неладное, некую непонятную жадность к цвету, к краскам, как другие женщины к огурцам. Часами

могла глядеть на синее небо, на восход-закат, а то и на собственную кровь — уколёт палец иголкой и смотрит. Главное, чтоб был чистый цвет. Но это она, кажется, не воспитательнице говорила и не учительнице, а доктору в известной клинике, где исследовали всяческие особенности, и не художества Тришеньки были тому причиною, совсем иное: если просили нарисовать кошку, изображал собаку, если собаку — кота. Что касается художеств — тут ничего не сделаешь, все от нее, матери, передалось. Или ей от него?.. Знаете эту трубку калейдоскопическую, повернешь и — новый узор? Неделями, месяцами глядел в нее. Как же, отнимешь. До посинения вопил.

Учился? Учился неважно. Спасибо учителям, вошли в положение матери, переводили из класса в класс. Во-первых, неинтересно ему там было, все ж таки не обыкновенный мальчик, может, и гениальный, а во-вторых, лупили его там все кому не лень. Чтоб выпроводить в школу, много чего надо было выкричать. Сперва через день ходил, потом раз в неделю, потом... За что лупили? Но ведь надо же кого-то. Как без этого? Ну, а Триша и ростом не вышел, и силы не накопил. Что тут поделаешь, поздний ребенок.

Многие говорили — с ума сошла, сорок лет. Ну, а как мне было жить без него?

Да и не могла не родить. Он жил во мне давно, лет уже... не знаю, всегда. Знала, какой он, как ест-пьет, на горшке сидит... Все знала. Оставалось выпустить на Божий свет. Это ведь я преступление совершила б, если бы... Не перед людьми, нет, им все равно, перед Богом.

Отец? Какой отец? А-а... Да был тут один... это... такой... Не хочу. При чем тут он? Я бы и без него... Что?

Однако это уже не доктору, а брату своему, усатому дядьке из Салехарда, что приехал на два дня и подарил пачку денег. Никогда еще не видел он мать такой обрадованной, благодарной. Весь вечер подходила к шкафу потрогать деньги и, счастливая, возвращалась к столу. На следующий день дядька без повода отодрал его, Тришку, считая, что художества — от отсутствия мужской руки. Ночью он решил перерубить кадыкастое дядькино горло кухонной сечкой, однако не смог ее отыскать в потемках. Опять же, бесперспективно: не узнает дядька, что будет дальше, не сможет покаяться перед ним. Пусть живет. И только деньги достал из-под белья в шкафу, засунул перед отъездом в его чемодан.

В десятом классе и вовсе перестал ходить в школу. К экзаменам на аттестат зрелости не допустили, выдали справку, дескать, прослушал курсы. И когда одноклассники готовились к экзаменам, алгебру-физику повторяли, он Ганди читал, лежа на диване. Или разглядывал альбомы репродукций, их у него целый шкаф. Знаете, сколько стоит один альбом?.. С другой стороны, как не дать денег? Может, окупится, как вы думаете? Мальчик-то гениальный, это само собой. Вот, например, через год сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном — разве не гениальность?

А это кому говорила? Продавцу в гастрономе, почтальону, приемщице химчистки? Такая вот у него мать. Каждому, кто пожелает, расскажет всю жизнь от беременности до нынешних дней. А вот как жила до беременности — нет, будто тогда и началась ее жизнь. “Иногда кажется, что я недостойна такого ребенка. В самом деле, за что?..” Была она тощая, суетливая, работала почасовиком в технологическом институте, пыталась даже защититься — не вышло, и каждый год тряслась, что “не укомплектуют”, не возьмут.

“Мама, у тебя вата из пальто лезет!” — “Вата?.. Что поделаешь, старое пальто”. Это был ее ответ миру, любимое присловье, принцип. Опять не дали квартиру? Что поделаешь. И жили в закутье, в цокольном этаже, где солнце можно увидеть, если положить голову на подоконник, а стены источают сладкий канализационный аромат. Не продлили больничный? Что поделаешь, если организм не дает высокой температуры? Ручка портфеля оторвалась? Свяжем провололочкой. Что поделаешь, пора.

Самые ненавистные слова.

Иной раз закрадывалось сомнение. Уж слишком охотно рассказывала, как ходила беременная, какие муки претерпела во время родов, что испытала, когда ее мальчик подал голос... Она ли его родила?

С трудом переносил ее присутствие в комнате, постоянную беготню на двенадцати метрах, улыбку, с которой вносила щи со свиной головизной, словно суп-жюльен. Конечно, иногда и жалел ее, а когда-нибудь и любил: когда работал и чувствовал — удается. Но в такие минуты он любил даже своих врагов, хотя бы за то, что они — современники, а следовательно, станут свидетелями своего ничтожества и его торжества.

Приемка портретов комиссией длилась недолго. Походили взад-вперед, перекинулись парой слов. В самом деле, о чем говорить?.. “Это кто, Романцов или нет?” — “Он. Ну и рожа. А это Ядищева. Ничего баба, а?” — “А вот и Гарбузенок”. — “Мишка? Ах-ха-ха-ха!..” И так далее. Через три минуты потеряли интерес.

— Заберем после обеда, — сказал один из них.

Почувствовал Тришка, однако, что портреты не слишком понравились. Не беда. Таких ценителей... Даже не вышел к ним из мастерской.

Один из портретов удался ему больше других — Матвея Селиха. Удалось передать и независимость этого незнакомого доселе человека, и тайную обиду в подрагивающих губах. Отчего копилась эта обида? На кого или на что была обращена? На людей или на судьбу?.. Не столь уж редка обида в лицах, и отличало Селиха лишь только ее сочетание с независимостью, на первый взгляд казавшееся дурной злобой. Вставало за штрихами сангины большее, нежели исправный работник сорока пяти—сорока шести лет, — человек, очень надеявшийся на счастье, а проживший свои годы в тяжелом труде и, наверно, печальном быту. Есть и сейчас надежда в его пристальном, как у битой собаки, взгляде, — поздно.

Чтобы подчеркнуть завершенность облика и судьбы, он написал его старше — лет на пять-шесть.

Удалась, пожалуй, и Ядищева — еще молодая, еще красивая, но недавняя беззаботность в ее нагловатых, навькате, глазах уже уступала место печали. Женщины ему всегда удавались с трудом. Мешало представление об их независимости, покое, недостижимом для мужчин совершенстве. А может, то, что до сих пор он их, женщин, не знал. “Мальчик, — спросила Ядищева, когда он с карандашом и блокнотом остановился около нее, — почему у тебя белая борода?” Заглянула в глаза и рассеялась, будто увидела, что не знает он еще ничего. Мальчик! Вряд ли ей самой было больше чем тридцать лет.

А вот портрет Мити Брусова не получился, хотя он с охотой позировал во время обеденного перерыва и приходил продолжить сеанс в мастерской. Здоров и счастлив — единственное, что можно прочитать в лице.

В детстве Тришка страдал затыжными насморками, приучился шмыгать носом, даже если здоров. Позже мерзкая привычка исчезла и возвращалась только когда работал.

“Сочувствовать надо, а ты издеваешься над людьми”, — говорил ему приятель-предатель. Издевался? Нисколько. Просто показывал, что нельзя скрыть тайные намерения и страсти. Сторожкие уши выдадут истинное назначение доверчивых глаз, нос перечеркнет ласковую улыбку, щедрый блеск зубов выдаст корысть и алчность.

“Человек заслуживает уважения и сочувствия”.

Тришка расхохотался. Человек заслуживает? История это не подтвердила. Не говоря уже о том, что не подтвердила его, Тришкина, личная жизнь. Чем — заслуживает? Тем, что изо дня в день, сытый и голодный, в злобе и по привычке, душит себе подобных? Или тем, что для выживания использует все, от слезных желез до кулаков и зубов? За что его, Тришку, травили в школе, забивали в армии? За зло? Нет, за малый рост, узкие плечи. За вечный насморк, кривые зубы, прыщи на носу, за то, что уши оттопырены больше, чем у других. Уважения? Ха-ха.

“Ну и потом... что это за подпись?”

Подписывался он довольно разборчиво: Тришка. Но никому не удавалось тотчас уразуметь коротенькое словцо. Разбирали по буквам: Т-р-и... Тришка? Полное недоумение. Уж не издеваются ли над нами? Нет такой традиции.

— Вот именно, — отвечал. — Потому. Мать моя — подкидыш, я — незаконнорожденный. Нет у меня настоящего корня, нет и традиции. Тришка я.

Все. А вы, сударь, считаете, что имеете право на фамилию? Дед-прадед не переворачиваются в гробах?

Мир уже давным-давно идет не туда и не так. Жаждет не того, добивается ничтожного. Ликует от ненависти, наслаждается унижением, радуется от злобы.

Стало трудно работать по памяти, и он попросил Лену постоять у окна десять минут. Она вошла с опаскою, остановилась на пороге, как курица, подергала головой. Увидела набросок и замерла. Вот чего ему не хватало! Куриный взгляд и наклон головы. Разрешите, я постою на одной ноге, посмотрю одним глазом, лизну кончиком языка. Присяду на одну ягодицу, поношаю одной ноздрей.

Вот что: всемирная посредственность будет ее портрет.

Поднял голову и увидел в маленьких глазах слезы.

— Что я тебе сделала, Триша?

Кинулась вон на каблучках, будто овечка на тонких копытцах. И еще: незаметная слеза должна стоять в чистых глазах. Почувствовал благодарность к Лене. Дурочка. Подумала, что он рисует ее портрет.

В обед он, как всегда, пошел в блинную. Нет, не любовь к блинам с маслом или сметаной влекла его туда, иная, столь же простая тяга — Уля-блинница, что стояла у раскаленной плиты или на раздаче в белом грязноватом халатике, наброшенном на голое тело.

Вопреки всем представлениям о женской красоте притягивала его Уля. Если бы пришлось делать ее портрет, не за что было бы зацепиться, не на чем задержать взгляд: сонное лицо, чуть подсиненные серые глазки, реденькие реснички... Что же влекло? Голые руки и ноги, приголенные от жары груди? Нет, все девчата блинной одевались и выглядели одинаково. Что же?

Все несовершенство ее красоты были перед глазами: прижатые белой шапочкой толстые уши, плохо покрашенные белесые брови, нос уточкой... Улыбалась, ни на кого не обращая внимания, будто улыбка постоянно блуждала под розовой толстой кожей, как самописец показывая благополучие и покой в организме. В этом, наверно, и крылась тайна.

Когда подошла его очередь, он молчал — то была единственная возможность встретить подсиненные глаза. Другие раздатчицы сердились на зазевавшихся, Уля — нет, некуда торопиться, жизнь только начинается, — подняла реденькие ресницы.

— ...с маслом, — сказал он.

Все, больше она не посмотрит. Равнодушно отхлебнул чаю. Напаял кепочку-блин.

Походка у него была смешная, слишком широкие для своего роста делал шаги.

Всякий раз, вернувшись из блинной, он пытался набросать ее портрет. Похожести добивался быстро, но не удавалось передать вот это выражение спелости, равновесия в желаниях и образе жизни. Интересно, спала ли она с мужчиной? Наверно, нет.

И вдруг понял, почему не удается и что. Энергии не хватало в ее движениях, а в лице — чувства. Схватил карандаш, набросал ее голой, с гримасой страсти, в том положении, в котором единственно и хотел видеть ее. Захихикал от собственного унижения — так все оказалось понятно и просто.

— Гляньте-ка, — услышал голос над ухом. — Блядей рисует. Ах ты, сукин кот.

Он оглянулся и увидел за спиной Синкевича, председателя цехкома, а в двери толпу людей. Он уже давно слышал голоса в красном уголке, но не обращал внимания, всегда к концу перерыва здесь собирались люди.

— Иди, художник, отчитывайся.

Селих с трясущейся от негодования головой стоял перед своим портретом.

— ...мазило! Тебе быков рисовать, а не людей... Дармоед! Руки тебе обломать, зараза! Не берись, если не умеешь. Не позорь людей и сам не позорься...

Сорвал портрет с доски, рванул пополам, бросил под ноги. Пошел к выходу.

— Что ж ты человека изуродовал? — спросил Синкевич. Изуродовал? Скоро он остался один в красном уголке. Только за дверью кто-то все еще гудел и кто-то заходил от смеха.

— Триша... Тришенька... — послышался в углу, в сумраке, голос. — Хочешь, я чай поставлю? У меня кипятыльник есть... Я два пирожка купила... Ты не бери к сердцу, Триша. Этот портрет гениальный. Ты сам не знаешь, какой это был портрет...

Кто это? Ах да, птичка с острым клювиком. Уронит кто-либо крошку — тук-тук, съела, взмахнут рукой — покорно отлетит.

— Отстань, — сказал он.

Никак не удавалось происшедшее уразуметь.

— Я подклею его, Триша. Они ничего не понимают в искусстве. Они... С ненавистью поглядел на нее. Так захотелось пихнуть ее локтем, чтоб выкатилась в коридор.

— У меня один пирожок с капустой, один с творогом. Тебе какой?

— Отстань! — закричал он.

Лена все ж таки вскипятила чай, и он с неожиданной жадностью выпил стакан, отворачиваясь от нее, не в силах терпеть умильный взгляд, и локтем сбросил пирожок, что она подсовывала ему. Лена пирожок подняла, почистила, стала есть. Почти как преданная жена. На редкость жалкий и ничтожный человек.

А после чая опять появился Синкевич — с Ядищевой, Брусовым, Гарбузенком, Ковальчуком... Все озадаченно стояли перед своими портретами, хихикали у чужих.

— Эх, мальчик, — сказала Ядищева. — Разве я такая старая?

Только Брусов был удовлетворен, да Гарбузенок никак не мог принять решения: ему и нравилось и... С одной стороны, конечно... Но с другой...

Впрочем, все уже было ясно. Люди не выносят о себе правды, особенно, если эта правда — для всех. Не терпят о себе чужого суждения. Они хотят казаться моложе, красивее, удачливее, веселее, глупее, чем они есть.

— Ну, Тришка, — радостно сказал Синкевич, — будем тебя увольнять.

После школы он пытался поступить в художественное училище, но провалился с треском и загремел в стройбат. Уж как они там поплясали на нем. Только ненависть помогла выжить. Демобилизовавшись, устроился на завод и сначала работал обрубщиком, потом формовщиком, подсобником, грузчиком... От пневматического молотка у него через неделю отнялись пальцы, от стука формовочных машин мозги к концу смены превращались в болезненное тесто. Когда поставили подсобником, едва не попал под болванки, когда перевели в грузчики, завез и свалил ящик редукторов не в тот цех. В конце концов начальство тоненько намекнуло, чтобы убирался с завода: “Обрыдло на тебя глядеть”. Уйти? Но куда? Тут стало известно — рисует. Обработались: лучше платить дармоеду зарплату дежурного слесаря, чем рисковать жизнью своей или его. Он согласился. Надо же было кормиться: мать в конце концов выставили из института.

Между прочим, получив отворот и в панике пробежав неделю по другим институтам и даже школам, она успокоилась, присмирела, заткнула свой вечный фонтан, перестала хлопать носом. Улыбка заиграла на сухих губах: “Тришенька, а у нас денег нет”. Теперь она мечтала приобрести “Буковину”. Некая знакомая, кандидат, умница и красавица, купила такую, имеет существенную прибавку к зарплате. Главное, приобрести хорошую книгу по вязанию, а клиентура появится. И еще она мечтала съездить к брату.

Чтобы купить “Буковину” и поехать в Салехард, нужны деньги. Где взять? Есть способы. Хотя бы попросить или занять у... “Не смей”, — сказал он.

Брат ее приезжал еще раз, в минувшем году, ночевал в гостинице, поскольку у них негде: шкаф теперь стоял там, где можно было приткнуться раскладушку. Денег, между прочим, не оставил. Долго рассматривал его картины и наконец спросил: “Думаешь на этих уродах зарабатывать?”

Дело не в нем, дураков на земле много, если не большинство, а в том, что она, мать, замерла с кастрюлей в руках. А вскоре после отъезда брата и сказала — вроде бы легкомысленно, вроде глупо, наивно, дескать, что хо-

теть от меня, старой женщины: “Тришенька, а почему бы тебе не написать что-нибудь простое и... хорошее?” Вот тогда он — впервые — и плюнул ей в лицо. Она и не поняла, что плюнул, утерлась, продолжила: “...пишут же другие, неталантливые, и получается... Заработаешь немножко, а потом...” Тогда он плюнул второй раз. Заплакала, пошла на кухню.

“Прости меня, Тришенька...” — просила ночью.

Но разве можно простить предательство?

Он не просился на свет. Она его родила и потому не имеет права жаловаться на судьбу. Вместе с ним она должна принимать эту муку.

А вы думали — радость?

Христос — на муку, а вы — на удовольствие?

Все на муку, кроме глушцов и тиранов.

Оглушенный случившимся, он забрал пропуск и пошел к проходной. Плевать он хотел на этот и на любой другой завод, на этих и на тех судей. На жалкую зарплату, на Синкевича, Селиха, Гарбузенка, на всех диких передовиков и ручных ударников — равно как и на самого себя. Завтрашний день несколько его не волновал. Он, завтрашний, может и вовсе не приходиться.

Однако у турникета остановился и повернул к блинной.

Обеденный перерыв заканчивался, в зальчике было пусто. Девчата собрались у столика под окном, постукивали ножами и вилками.

— Еще одного черт принес, — сказала Уля.

Поднялась, пошла на раздачу.

— Что тебе?

— Приходи к “Колосу” после работы, — сказал он.

Выражая неодобрение Тришке, она стояла боком, так что видны ему были только спелая щека да ухо, но тут дрогнули реденькие реснички, хоть на градус, а повернулась головка на гладкой шее.

— Что я там не видела?

— Посидим.

— Чего это я с тобой сидеть буду? — спросила сварливо, но еще на градус повернула голову, и он увидел ее опасливый подсиненный глаз.

Девчата за столом, услышав такой разговор, разом перестали жевать, во все глаза уставились на Тришку.

— Нравиться ты мне, — объяснил он. — Сдобная булка.

— А ты стручок гороховый.

Девчата тотчас рассмеялись.

— Сходи, Уля, — подала голос одна из них. — Хороший ресторан, потанцуете.

— Чего это я с ним танцевать буду? — еще сварливее произнесла, снова измерила Тришку взглядом и снова разочаровалась. Но разочарование на этот раз было сочувственное. — У тебя борода противная.

Никакого стыда Тришка сегодня не ощущал. Все они были одинаковые на этом заводе, и стыд — слишком роскошно для них.

— Где ты работаешь, хлопчик? — спросили из зала.

— Нигде. Уволили сегодня с завода. Проститься хочу с Улькой.

— Какой-то ты дурной, — сказала она. — Будешь есть или нет?

— Нет, — ответил Тришка. — Придешь?

А вообще-то ему было все равно, придет она или нет.

Оказавшись за проходной, он вдруг увидел, что — весна, солнце, хлопает снег, текут ручьи по асфальту. Радость почувствовал, освобождение. Хорошо бы он, завод, сейчас бурно поднялся на воздух и медленно осypался. Что-то подобное он уже испытывал. Когда? В восьмом классе, когда решил не ходить в школу? В десятом, когда она, ненавистная, осталась позади? Или когда понял, что, проглотив упаковку таблеток, которые мать принимала на ночь, можно спокойно и навсегда уснуть?.. Подвела собственная неосмотрительность: бросил коробочку на пол, и мать поняла, вызвала “скорую”. Или, наоборот, когда понял, что будет жить?

В общем, почувствовал, что ему хорошо.

Денег при расчете дадут рублей шестьдесят, немало. Если по рублю в день, хватит на двоих на месяц. Тридцать дней свободы. Ну, а потом... Ничего. Бог даст день, Бог даст и пищу.

Он шагал в легкой капроновой курточке, в которой проходил и осень, и зиму, кособочась от дождя и ветра, а теперь, в апреле, она была в самый раз. Ботинки, напротив, были тяжелые, зимние, на меху — мать купила осенью, сдав в скупку свой единственный, девичий еще, золотой перстенок. Шагал, не разбирая дороги, по лужам, и скоро ботинки отяжелели, набрякли, хорошо бы и обсушиться где-нибудь.

И тут обнаружил, что стоит у дощатого забора, за которым громоздились глыбы гранита, гудрона, валялись на спинах мощные спортсмены, вожжи, воины, трудящиеся, торчали бронзовые носы и руки, вздымались каменные груди и медные лбы. Расставленные в разных городах и поселках, в парках и на площадях, они, как все предельно бездарное, могли быть привычны и незаметны, но на одном дворе, за забором, походили на останки странной, погибшей цивилизации. Здесь же стоял длинный деревянный дом — мастерские художественного комбината скульпторов, оформителей, графиков, живописцев. В этом доме получил комнатку и приятель-предатель, двенадцать квадратов с видом на оставленную ветку узкоколейки, былки прошлогодней польны, вековым мусором под окном.

Десять лет назад, еще в школе, у него возникла страсть рисовать экзотических животных. Принес 1 сентября альбом благородных леопардов, тигров, жирафов, слонов. Улучив момент, Тришка каждому из них прицепил по гигантскому фаллосу — учительница впала в истерику, ну а приятель впервые предал его.

Тоже когда-то был скромный, молчаливый, испуганный. Но чем чаще предавал, тем больше и увереннее говорил. “История отдельного человека, если пренебречь масштабом, — история человечества. История художника — история культуры. Кто не знает, какие ускорения набирает творчество, выпарапавшись к сознательному? Почему культура прошла путь от и до? А потому, что не было альтернативы у человечества: либо вырождение, либо... А если так, то почему не допустить, что есть шанс и у тебя, и у меня?” — “Спасибо за компанию, — ответил Тришка. — Обойдусь”. Ничего глупее он не слышал.

“Тебе придется мириться с жизнью. У тебя нет программы. Непонятно, с кем воюешь и ради чего”. Он явно не понимал главного: только чувство — программа гения, доверие, которое он испытывает к самому себе.

Говорить с ним не о чем, но обсушиться можно. Не грех и занять десять-двадцать рублей.

Постучал.

— Ты? — И досада, и удовольствие отразились на лице. Однако стоял в двери, будто размышляя, впустить или нет. — Хорош. Снимай лапти.

Стоял рядом и с любопытством глядел на грязные и влажные пальцы ног. Брезгливо пододвинул тапки. Принудил вымыть под краном ноги, сполоснуть носки и только тогда спросил:

— Ну?

— Погнали с завода.

— Понятно. Что будешь делать?

— Поживем — увидим.

— А чего явился?

— Обсушиться. Чаю попить.

Хмыкнул: середина дня, время работы. Беспокойно поглядел на мольберт у окна.

— Можно глянуть?

Двинул головой на длинной и тощей шее, дескать, взгляни, если пришел.

— Ох, какая сладкая женщина, — сказал Тришка. — Можно, я ее оближу?

— Оближи, если голодный.

И Тришка лизнул, сладострастно всхлипнул.

— Одного не понимаю, чего я тебя терплю?

— Как это не понимаешь? Понимаешь. Знаешь, кто ты и кто я. — Приятель-предатель захотал.

— Ну и гусь!

И еще стояли два мольберта с незаконченными работами. Маэстро многогостаночник. Висели картины и на стенах, стояли в углу.

Из всех человеческих чувств два вели его особенно явно: жажда красоты и любви. Впрочем, это одно и то же чувство, две его обязательные стороны.

В каждой работе отрекался от сиюминутной жизни, доказывал приверженность к вечной красоте. Особенно любил женщин за стремление быть красивыми, покорно смирялся перед совершеннейшими из мужчин. Странно, что не добился до сих пор успеха у глазющей публики. Впрочем, эта комната-мастерская — первый знак.

— Как точно рассчитано, — сказал Тришка. — В самом деле, нет человека, которому доставало бы красоты и любви. Самая неутолимая жажда. Однако — старая песня.

— Вечная, — поправил тот. — Все притязания проходят и забываются, кроме красоты и любви. Это главное, к чему стремится человечество.

— Чепуха, — заявил Тришка. — Человечество стремится к наслаждениям. А красота — лишь только путь к ним, предложение и зов. Предмет обмена и торга. Скоро тебе будет плохо.

— Когда? — полюбопытствовал равнодушно.

— Как только кончится базарный день. Поразмышлял.

— Удивительно, — сказал он. — И этот человек собирается пить со мной чай. Понимаешь, что говоришь?

— Разумеется, понимаю. У меня есть опыт. Две жизни, по крайней мере, я уже проиграл. И ты проиграешь.

— Это как?

— Как большинство.

— Не понимаю.

— Само собой.

В том, что живет не первый раз, у Тришки сомнений не было. Который — этого не знал, но, по меньшей мере, третий, а может, и четвертый, пятый. Воспоминания не вмещались ни в две, ни в три жизни. Помнил, например, как гнали его соплеменники по горам, кидали вслед камни: идол, которого он сотворил из гранита, не приносил добычи. Видно, один из камней достиг цели, потому что новое воспоминание относилось уже к другому времени, иной стране: тащили на веревках к водопаду за то, что решился воспроизвести человеческое лицо. Потом — уже здесь, в России, пытали спицами, волокли за конем. Потом... Все жизни заканчивались обвинениями в богохульстве, предательстве, злодеянии. Однако на самом деле вина его была иная и единственная — трусость: знал, каким должен быть идол, приносящий добычу, но — не решился, высек пустого, бессильного, из дешевого серого гранита, а не из могущественного базальта. Воспроизвел лицо, но то не было лицо Бога, а — жалкого, настороженного человека. Только здесь, в России, казнили его за иное: взялся за Троицу — не имел еще, неученый и бесталаный, права братья за нее.

И все же опять и опять получал право на новую жизнь: видно, имелось в его душе маковое зерно, с которым Создатель окончательно проститься не мог. Ныне — последний шанс.

— Не беспокойся, — сказал Тришка. — Тебе эта мука не угрожает. Ты проживешь единственную, но долгую и вполне бессмысленную жизнь.

В ответ тот схватил чайник и шваркнул заварку в раковину.

— Катись отсюда, гений, — сказал. — Надел. Ты отнял у меня слишком много времени.

— А зачем оно тебе? Солить?

Стоит и трясется, как отбойный молоток, еще чуть-чуть — и Кондрат. Ладно, пускай живет. В конце концов, нужны и такие, всю долгую жизнь фиксирующие красоту. Да, был и у него, как у всех, шанс, но ведь вышел, и теперь его смерть — сегодня ли, завтра или через сто лет — не изменит

ничего. Поздно! Пошли ему, Тришке, Господи, короткую жизнь, дай сказать и умереть после Слова, не дай вымолвить то, которое унизит его. Не дай дожить до часа своего падения, дай низвергнуться самому, ринуться к земле, как птица, забравшаяся слишком высоко.

Жаль только — не перехватил червонец, все ж таки — в ресторан.

Посреди заводской площади на огромном пьедестале стоял маленький памятник Ленину — шаг вперед, с простертой к городу рукой. По слухам, пробовали ориентировать памятник и на завод, и на город, на запад и на восток. Дураки сами себе ставят неразрешимые задачи: и так нехорошо, и так плохо. В то время как разгадка была проста: не нужен здесь памятник. То же и соотношение с пьедесталом: пожалели рублей на основательный — отлили не вождя, а пигмея, решили выйти из кислого положения за счет постаменты — получилась марионетка.

Он стоял перед памятником, задрал белую бороденку, и думал о том, кем мог быть Ленин в прошлых жизнях и кем в будущих. Нет, ничего не приходило на ум. С Марксом, например, все ясно: мог жить крупным торговцем, еще раньше менялой, еще — звездочетом. Впрочем, звездочетом мог быть и Ленин. Ну и, конечно, апостолом во времена Христа, проповедником типа антиохского Златоуста. В будущем мог оказаться учителем, доктором. На большее у Тришки фантазии не хватало.

Их, живших второй, третий раз, Тришка знал немало. У каждого жившего был, а у каждого живущего есть шанс еще раз прийти на землю. Думать о том, кто кем был в предыдущих жизнях и кем будет в следующих, с некоего дня стало любимым занятием — с того, как догадался, что мать когда-то была крестьянкой, имела девять дочек и сыновей. “Трудно тебе пришлось с таким выводком?” — спросил он. “Трудно, — ответила. — А ведь еще трех я схоронила. Мальчик умер от золотухи, а две девочки...” — и замерла над плитой, испуганно поглядела на него. Человек может многое вспомнить, если застать врасплох. Вовсе не так называемые великие получают право на новую жизнь, эти, напротив, редко. Особенно — политики, госдеятели, полководцы. Так много чужих жизней вбирают они в свою, что — хватит, все ясно с первой попытки. Может, потому так велика энергия некоторых из них, что чувствуют: эта жизнь единственная, надо взять от нее, то есть от людей, все, что они могут дать. А то, чего не могут, отобрать. Потому и ненавидел их — левых, правых, сегодняшних и вчерашних — всех равно.

А Уля? Можно ли представить ее в прошлой жизни? Чтобы понять, надо понаблюдать.

Блинная работала до семи, значит, она должна появиться с минуты на минуту. Он стоял, выглядывая из-за памятника, и, конечно, выглядел по-дурацки. Совсем не был уверен, что жаждет встречи, и намеревался, увидев ее, спрятаться, уйти незамеченным.

Увидел обновленное к Маю кумачовое полотнище над проходной, и совсем стало противно. В это мгновение Уля и появилась. Никогда не видел он ее в платье, всегда в белом халате с наколкой — так, казалось, и выйдет с завода. В блинной двигалась лениво, нехотя — казалось, так же поплывет за проходной, на воле. Но здесь она шла быстро, озабоченно, толстые ляжки уверенно вздрагивали под платьем, груди, поднятые лифом, оказались высокими, мощными, освобожденные волосы — обильными, рыжими.

Ничего не было в ней такого, что могло бы особенно нравиться, ни вместе, ни по отдельности, все было далеко от красоты, воспетой легионами и вагонами художников, но Тришка почувствовал, что вот пройдет она, не заметив, и жизнь его будет уже позади. Можно создать и разрушить мир, заставить людей признать свое ничтожество перед ним, Тришкой, а Ули у него не будет.

Он вдруг забыл ее имя.

— Ты! — крикнул, когда поравнялась и шагнула мимо. — Эй! — Не отозвалась, похоже, и не услышала его осипший голос.

— Подожди!

Уля, наконец, поняла, что истошные призывы относятся к ней, и огля-

нулась, приостановилась. Увидела Тришку, и некое воспоминание замерцало на идеально круглом, поросычем лице.

Постыдную и позорную зависимость чувствовал Тришка, когда приближался к ней. То, что всего больше презирал в отношениях между людьми.

— Ну что, пойдём?

Опять трудное воспоминание проклюнулось в куриных мозгах.

Вылупилось.

— А, — произнесла с сожалением. — Пряма не знаю.

Глядела на Тришку в упор, взвешивая за и против. Впрочем, здесь, за проходной, без контроля подруг, синенькие глаза косили меньше, а выражение было более согласительным: не так часто приглашают в рестораны, чтобы отказываться.

— Ладно, — сказала и посмотрела на часики. — Часа два у меня есть.

Название “Колос”, видимо, подразумевало изобилие или, по меньшей мере, достаток, категория “ресторан” — некоторую роскошь. Оказалось — большая столовая с грязной дорожкой, а в меню — гуляш с рисом и водка. Впрочем, такому меню Тришка даже обрадовался: нужно уложиться в десять рублей.

Видно, Уля была здесь впервые — с любопытством оглядывалась. “Хороший ресторан”, — заметила с удовольствием. Но дело, конечно, не в ресторане, а в том, что первый акт купли-продажи, столь свойственный миру вообще, а женщинам в частности, состоялся. Отношения мужчин и женщин — тот же аукцион: кто больше даст, тот раньше успеет. Отличие лишь в том, что товар живой, покупателя выбирает сам и учитывает не только платежеспособность.

Говорить им было не о чем, слава богу, официантка тотчас принесла гуляш и двести граммов. “За что пьем?” — Вид рюмочки и графинчика возбуждал Улю, она улыбалась. Улыбка у нее была хорошая, доверчивая, и только поросычье ушко настороженно топырилось, раздвинув поток волос. “За любовь”, — сказал он. Опять улыбнулась и подняла рюмочку: кто ж откажется выпить за любовь?

Тотчас плотные щеки порозовели, а глазки уютно потеплели.

— Ты правда художник?

— Правда.

— И картину можешь нарисовать? У меня в общежитии есть картина, “Девушка с ягненком” называется.

Вот как. Уля интересуется Рафаэлем.

— А человека можешь?

Тришка взял салфетку из грубой оберточной бумаги, достал фломастер и, секунду поразмыслив, положил несколько линий: крахмальная накладка, нежная щечка, глазок. Уля обрадованно рассмеялась: “Возьму на память”. Спрятала в сумочку. Ах, как нравятся людям, когда на нежной скрипочке или печальной арфе исполняют их общий облик. Самое привлекательное во мне и есть главное. Но вот — на первый случай — еще одно выражение: маленькое несоответствие между доверчивым глазком и толстым настороженным ушком. И ничтожная морщинка — пока лишь только украшение — меж реденьких бровей. А если хотите — вот вам облик на будущее, на ближайшие пять или, скажем, десять лет.

Уля испуганно глядела на новый рисунок.

— Неправда, — сказала враждебно. — Не похожа. Разве у меня такое ухо?

Да нет, конечно же, не такое. И глаз не такой, и ухо, и рот, и общей суровости пока нет. Все это один из вариантов возможного, побочная тема в общечеловеческой симфонии, напоминание, исполненное альтовой группой, о том, что поджидает человека, если... Если пойдет след в след за толпами иных людей. Если будет желать и поступать, как желает и поступает непобедимое большинство.

Опыт человеческий говорит, что спасенья нет. Этот незаметный, случайный росточек все равно изуродует безобидный и стройный саженец, алчно

выгнется, разрастется, станет оплетать иные мысли и чувства и, наконец, погибнет с отвращением ко всему живому и самому себе.

Настроение у нее упало, она печально и скучно глядела, как на маленькой площадке скачет подвыпивший народ.

— Может, и мы поскачем? — предложил Тришка.

— Не хочу.

Вот теперь глянула сущность: печальная женщина, которая догадывается, что счастья нет. Теперь бы и писать ее портрет, но не здесь, на салфетках, а дома, думая о ней сегодняшней и о той жизни, что ей предстоит.

— Пойдем, — сказала она.

На улице было темно. Мерзкие запахи весны заполняли заводской поселок, ползли из дворов, подъездов. Однако в предвкушении ожидаемых удовольствий люди вздыхают: о весна, лето! — не думая, что сопутствует и грядет за тем и другим.

Он уже мечтал остаться один. Но когда подошли к подъезду общежития и оставалось только проститься, увидел нетерпение тоже и на ее бледном от фонарей лице и испугался, что все это — запахи перекишенной капусты, жареного сала, молодая женщина рядом — единственный и последний раз. Вдруг захотелось забыть, что грядет за весной и летом, стать таким, как она, другие, не гением, которому все ясно и ничего не суждено, а ничтожеством, рядовой тварью, которой ничего не ясно, но суждено все.

— Ну? — униженно хихикнул он. — Не понравилось?

Угождай людям, если хочешь иметь удовольствия, найди в человеке самое привлекательное и запечатлей на радость вожделеющим поколениям, чем проще условия, тем увлекательнее игра. Мужчина — женщина — что может быть проще?

И он неожиданно для себя ущипнул ее за грудь, за сосок.

Если откровенно, по правде, только это было ему нужно от нее.

Уля вздрогнула и удивленно поглядела на него.

— Одурел? — спросила. Он рассмеялся.

— От тебя одуреешь, — и ущипнул за другую грудь.

Не сразу понял, что произошло. А произошло то, что она крепкой крестьянской рукой залепила ему оглушительную оплеуху, потом другую, третью, ударила в колено ногой.

— Козел паршивый! — крикнула, отскочив к подъезду. — Иди вон, позорник!

Иметь женщину — стало для него в последний год навязчивой идеей. Стыдно было признаться: в свои двадцать пять лет он еще не знаком с этой стороной жизни. Впрочем, и признаваться некому: не было ни женщины, ни товарища. Так же страстно и навязчиво хотел когда-то иметь друга, пока не понял, что друзей не бывает. Могут быть приятели, то есть попутчики, а друзей — нет. Стоило это понять — стало легче. Возможно, так же будет, когда поймет, что обладание женщинами не для него. Для таких, как он, нужны дома терпимости, отдал свои — двадцать, тридцать? сколько это может стоить? — и опять свободен. Можно купить женщину и сейчас, но где добыть денег?

Месяц назад, когда получал зарплату, на него пристально посмотрела кассирша Шурочка, и он дождался ее, купил бутылку крепленого вина. Она жила здесь, в поселке, в маленьком деревянном домике с кухней и комнаткой, на стене висела “Виноградница” с четьрьмя — по углам — бабочками, под кружевной салфеткой громоздился цветной телевизор, огромная кровать с периной и пуховыми подушками высилась, как торжественный катафалк. Шурочка растапливала печь, а он сидел за столом, тупо глядя на экран телевизора, и стучал зубами от холода и волнения. И хотя комнатка согрелась быстро и Шурочка преданно глядела в глаза, поглаживала его белую бороденку, он все не решался, не знал — пора или не пора. “Ты меня ничем не заразишь? — спросила она ласково, когда допили бутылку. — Я тебе глаза выцарапаю, если что”.

Непреодолимое отвращение чувствовал к ней Тришка. Такое, что когда Шурочка начала раздеваться, он держал ее за руки, мешая расстегивать пу-

говицы, спасаясь уже от иного позора, от немощи, бессмысленно гладил ее по спине и отворачивался, чтобы она не целовала его.

“Ты меня не любишь, ты меня не любишь!..” — твердила она, бодая пахнущей нашатырем головой. Господи, какая любовь?.. О чем она?

Что-то яростное прокричала вслед, когда уходил, чувствуя отращение к жизни вообще.

А минувшим летом попал на какую-то свадьбу на окраине города и оказался рядом с девушкой, которую звали Жужу. Пили с ней, целовались прилюдно и в сарае, куда он завел ее во время второго застолья, и, казалось, все будет, свершится, но дурочка устроила крик, как девственница, повалились откуда-то дрова, ведра, грабли, а потом со свистом и улюлюканьем гнала его по улицам та бешеная пьяная свадьба, и он спасся, залетев в уборную на чьем-то дворе.

Мать-таки уехала в Салехард. У брата родился внук, требовалась няня — прислал на дорогу сто рублей. Ох, как суетилась, собираясь, обещала вернуться через месяц, виновато глядела и радовалась. “Да поезжай ты скорей! — хотелось крикнуть Тришке. — Прекрасно обойдусь без тебя!” Однако знал: скажи нечто подобное — останется. Терпеливо, мученически молчал.

У поезда тоже металась, порываясь остаться, а когда наконец состав лягнул, кинулась в тамбур и зарыдала, будто видятся в последний раз. Огромное облегчение испытал, увидев красные огни последнего вагона, и счастье, когда вернулся домой и не нашел ее здесь — шмыгающую, бегающую, безмолвно вопрошающую. Свобода, одиночество, тишина. И это же облегчение утром: нет ее, нет, нет. Один! И вечером не будет, и следующим утром.

Только так и должен жить художник. Племя, семья или государство — объединения слабых. Сбиваются в стаи из страха: ты мне поможешь, я тебе. Вдвоем в два раза больше шансов спастись, втроем — в три. Потому в конце концов и образовалось человечество и не образовался человек. Спасись! — иной задачи не было. Будто человек может спастись.

Была надежда, что человек все же образуется, когда родился Бог. Но тут же возопили о вечной жизни, о спасении если не тела, то хотя бы души — ее-то впопыхах и растрясли. А когда и эта вера начала меркнуть, придумали светлое будущее — хоть немного, а поживем властью.

Дни стояли долгие, он работал допоздна и не замечал ни звона трамваев, ни рева грузовиков — по улице шел транспортный грузопоток. Не было денег, но много ему и не надо: собрал банки, бутылки, сдал, купил хлеба и чаю. В конце концов сытость — самое бессмысленное и безнадежное состояние. Человек должен быть голоден и физически, и душевно. Голоден не значит беден. Бедность и есть богатство, богатство — позорная нищета. Потребности нужно свести к минимуму, если нельзя к нулю. Он, например, когда потеплело, отказался от обуви, куда приятнее ходить босиком. Народ удивляется? Не так давно удивлялся, когда кто-то появлялся в обуви, а не босиком.

Вдруг сообразил, что ни разу не рисовал мать. Быстро, не задумываясь, сделал углем набросок. Рассмеялся: интересно, как она отнеслась бы к нему. В лице, как у старой зайчихи, вечный испуг, как у собаки — готовность служить. Лицо, однако, не передавало сущность. Нужна ее тощая фигура, длинные руки и ноги, сутулые плечи. Но и этого мало. Вот что: сковородку ей в руки и — посреди двери. Я не помешаю тебе, Тришенька? Съешь картошечки, голубчик. Знает, что помешала, что есть не станет, что Тришка заслуженно обругает, а все ж стоит. Как же надоела она, и как хорошо, что ее нет. Нет ничего более постылого, чем назойливая любовь. Да и любовь ли? Не страх ли потерять единственный спасательный круг?

Как надоела она со своим вечным хлопаньем или, к примеру, с ее предельным по простоте отношением к так называемым естественным процессам и отправлениям: никогда не запирала дверь в туалете, откроешь — здравствуйте, сидит. Как пищеварение?.. Или выскочит на порог испуганная: у тебя понос, Тришенька? Газы в туалете такие ядовитые...

Все, все, все. Один, один.

Не то на пятый, не то на десятый день его счастливой одинокой жизни, то ли вечером, то ли утром в дверь позвонили, и на пороге возникла Лена, библиотекаряша.

— Что случилось? Как ты нашла меня?

Поскуливала и попискивала от радости, как щенок, вновь обретший потерявшегося хозяина, и глядела так же восторженно, как обычно глядела мать.

Впрочем, понятно: в отделе кадров есть адрес. Но почему?

Она не отвечала, а все поскуливала и попискивала, оглядывалась.

— Ой, Тришенька, как мне у тебя нравится!.. Ты один здесь живешь? Ой, как здорово...

Голосок тоненький, на грани восприятия, еще чуть-чуть и — ультразвук.

Интересно, что ей уж так сильно нравилось? Окно с форточкой на уровне тротуара? Обдуренные стены? Две ржавые кровати, что мать заполучила в общежитии института, списанные за ненадобностью?

— А грязно у тебя как! Разве так можно, Триша?.. Где у тебя веник, тряпка? Что это за халат? Мамин? У тебя есть мама?

И новая порция щедрой радости. Казалось, все чувства ее замыкаются на восторге.

Халат оказался в самый раз и по росту, и по всем неповторимым изгибам, что отличают людей. Он подумал, что старой она будет как две капли воды похожа на его несчастную мать.

Раздражало даже то, с каким почтением вглядывалась в новую его работу, перебирала другие, сваленные в углу.

— У тебя великое будущее, Триша. Ты сам не понимаешь, какое, ты...

— Перестань, — сказал он.

Уж в чем не нуждался, так в дешевых хвалах.

— Нет, в самом деле. Я таких работ не видела никогда. Да, совсем забыла: Синкевич сказал, чтоб приходил на работу. Селиха надо рисовать.

“Синкевич сказал”. Кто ему, Тришке, вправе что-либо “сказать”?

— Пускай Синкевич сам рисует кого хочет.

Лене это показалось смешным, захихикала. Через час уборка была закончена.

— Может, что-нибудь простирнуть?

— Только этого не хватало.

— Тогда будем с тобой пировать!

И начала вынимать из сумки свертки, банки, а главное, две бутылки вина.

Тришка обрадовался: хоть какой-то смысл получит бездарное времяпрепровождение.

— За что пьем? — мечтательно спросила Лена.

— За любовь, — буркнул он.

— Согласна! За любовь!

И выпила до дна полстакана.

Выпил и Тришка.

А через минуту почувствовал, что не так уж ему противна эта девушка, а если взглянуть иначе, не с птичьего полета, а в узкую щелочку ее жалкой судьбы, то и привлекательна. Никому не принесет зла, обид, никого не заставит сожалеть о встрече с ней.

Однако радости тоже не принесет.

Руки у нее были красивые, даже совершенные, будто долетело эхо давней породы, чьей-то красоты, погибшей в неравной борьбе. Она поднимала их, потряхивая кистями, как колокольчиками, бросала на колени, задерживала на весу — показывала ему и любовалась сама.

Он почувствовал неясную близость к ней.

Может быть, жило когда-то племя талантливых и племя совершенных физически. И те и другие были сотворены Богом, и смысл творения заключался в том, чтобы они встретились. Однако совершенное хрупко — побеждены, рассеяны, растворены иными племенами, родившимися не от Бога, а от одной из аминокислот.

Скоро, скоро руки ее зарубеют от мытья полов, стирок, чистки картошки, станут корявыми, как у его матери. Красивые руки становятся особо уродливыми. Захотелось потрогать их — такие ли, как у матери? — и он накрыл ее ладонь. Лена тотчас вцепилась в его пальцы, до боли сжала, выкрутила.

— Какой ты добрый, Тришенька, какой добрый!.. — бормотала она и вдруг начала целовать его ладонь.

Добрый? Никогда не знал за собой такого, так же как за другими. Доброта — тоже выражение тайной корысти, слабости, неспособности противостоять другим. Добр одичавший пес, что в драке ложится на спину, подставляя победителю брюхо и шею? Добр человек, поднявший руки в бою? Добр приятель-предатель, когда угощает чаем? Добра мать, что сбежала на край земли?

— Эй-эй! — вырвал руку. — Давай-ка выпьем. Я такого отродясь за собой не знал.

Смахнула со щеки две слезинки.

— Ой, Тришенька, ничего ты о себе не знаешь, ничего!

Доброты на земле нет, есть — сочувствие, как признание угрозы и для твоей жизни, тайной опасности, что кроется в каждом грядущем дне. Есть надежда отомстить от рока, посочувствовав тому, кого он уже настиг.

Кто был добр к нему, Тришке? Ну, а для сочувствия он, слава богу, повода не давал и не даст. Скорее простится с жизнью, чем позволит себе сочувствовать. Также и сам — сочувствовать никому не станет.

Как, однако, блеснули ее птичьи глазки. Вот самый привлекательный облик: девушка в слезах. Чем чаще станет плакать, тем большим будет пользоваться успехом, — пока не выцветут от слез глаза. Равно и безобразной станет, когда выцветут, оголят положенный от природы объем соленой воды.

Она стала трезветь и задумываться. Или выговорила все, что чувствовала, с чем пришла? Очень задумчивы люди, когда нечего сказать. Тем не менее задумчивость была ей к лицу. Нечто сущее, женское выявляла она. Такое, что, опять же, взывало к сочувствию, приглашало к сопереживанию, единению, к такому же лирическому молчанию или, по крайней мере, замене словесной речи неким иным общением, более значительным.

Он положил руку на ее плечо, и она тотчас потерялась щекой: да, ты правильно понял, именно это нужно мне сейчас и всегда — твоя рука. Я слабая, я боюсь борьбы и жажду ласки, я не способна распоряжаться ни собой, ни другими и могу лишь только подчиняться и торопливо выполнять твои желания, я не понимаю, каков мир и какова я сама, мне никогда не приходило в голову изменить его и измениться, построить или разрушить, но я ни при какой погоде, ни днем, ни ночью, ни сегодня, ни завтра, ни во веки веков не изменю тебе, не...

Странное было выражение на лице, когда он валил ее на постель, рвал пуговицы и резинки, с таким выражением, верно, падают в ущелье, вдруг потеряв твердь, и летят, летят, не в силах управлять собой, пока не вырвется из горла крик. Крик этот — не мольба о помощи, не страх или отчаяние, он — известие, что все уже позади.

Кровь она вытирала хрустящими старыми газетами, что месяцами складывала мать под кровать, потом сползла с постели и косолапо зашлепала в уборную, он глядел на ее тощую спину, на плоские ягодицы с омерзением, а когда вернулась, он уже спал, отвернувшись к стене, вбившись в угол между кроватью и обшарпанной стенкой, не видел ее лица с дрожащей улыбочкой.

Проснулся оттого, что кто-то перебирал его волосы. Кажется, было светло и поздно. Кто это? Вспомнил. Рука, словно почувствовав, что проснулся, стала еще ласковее, настойчивее. Вот я, сторожу и охраняю твой покой. Будто бы сторожу и охраняю, а на самом деле жду решения своей участи, терпеливо, но настойчиво. Готова и нападать, и защищаться, и плакать. Как же, ого! Я отдала тебе все.

Не много же у тебя было, красотка. Из-за твоего жалкого богатства я должен потерять свободу?

— Сними руку, — сказал в подушку.

— Что? Что ты сказал? — тотчас наклонилась с полной готовностью: назви любое твое желание. Вот я, давно уже стою на задних лапках. И взгляд мой, голос — слаще меда и крепленого вина.

— Руку сними, — внятно повторил он.

Однако слабые так легко не сдаются. Что-что, а терпение у них есть. Мы будем ждать до гробовой доски. Им не приходит в голову, что верно и пожизненно ждут люди, которым ничего больше не остается и которые ни на что, кроме как на тупое ожидание, не способны.

— Отодвинься, мне жарко.

Сейчас станет обмахивать его платочком.

Нет, слава богу, отодвинулась, замолчала. Ждет.

Проснувшись второй раз, Тришка опять вспомнил и прислушался. Было тихо. Значит, лежит на самом краешке, на ребре кровати. Вот какая я незаметная, легкая, послушная. Даже дыхания моего не слышать. Тебе со мной будет хорошо.

Открыл один глаз и увидел, что кровать пуста. Второй — не было Лены и в комнате. Значит, на кухне? Вот тебе и завтрак готов. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок — кто из женщин не употреблял эти слова? Что ты предпочитаешь — омлет или глазунью? Что тебе готовит по утрам мать?

Но и на кухне не слышно никакого движения.

Он поднялся, заглянул на кухню и в туалет. Лены не было.

Тут на столе увидел записку: “Тришенька, прости меня”.

Долго вглядывался в единственную строчку, не понимая, что она обещает, без мыслей и чувств.

Пришло письмо от матери. Равнодушно повертел конверт, бросил на подоконник. Что она могла написать? Пустые слова вызовут лишь только раздражение, а ему надо хранить покой — работать. Прочитает позже, когда выработает, израсходует энергию, что накопила за ночь душа.

Уже неделю он просыпался рано, как всегда, когда посещала подходящая мысль, а с ней и тревога, что не сможет ее осуществить. Поначалу она показалась такой необъятной и важной, что испугался, схватил веник и подметел полы, потом долго стирал под умывальником грязные носки и носовые платки и все оглядывался: что сделать еще, чем отвлечься? Не верил в сокрушительные идеи, к самому себе относился с подозрением, если приходило такое в голову.

Наскреб полтинник и пошел пить кофе в булочную, и там, за стойкой, прихлебывая и нетерпеливо обжигаясь, уразумел, что идея не так уж грандиозна, сильна. Однако возбуждение не проходило: есть разные уровни приближения к истине, и он чувствовал, что — приближается. Теперь главное не торопиться, приготовить душу к работе, чтобы не надеялась на легкий успех, а знала: будет ее трепать, мучить, пользоваться много дней. Случаются идеи, которые осуществляются просто, будто собственной силой привлекая нужные запасы в душе, за них легко браться, весело работать. Нынешняя обещала трудную жизнь. Потому и откладывал начало, завершая старые работы, знал, что праздник приуготовления рассеется на тысячу знаков, и надо будет собирать их, заново одушевлять. Откладывать начало надолго тоже опасно: душа меняется быстрее, чем кажется, и однажды, проснувшись, можно почувствовать себя другим. Этим и объясняется несовпадение замысла и конечного результата у всех художников, кроме трех-четырех имен за последние пятьсот лет.

Картина будет о них, гениях в новой жизни, о тех, у кого снова не совпали замысел и результат. Гении — не исключение, их много, только люди не знают об этом. Гениальность может выявляться через профессию — художника, философа, математика, — но вообще к профессии отношения не имеет. Профессия — это усердие, способности, талант. Разве не гениальна его бездарная мать?.. Тришка их, гениев, определял с первого взгляда: каждое измученное лицо — гений. Гений не сила, а слабость, он совершенен, а потому не может бороться с толпой. У них, гениев, особая, сквозная судь-

ба и доля: не исчезать окончательно, а умирать и снова возрождаться. Много лиц, что попадались на улицах, он уже встречал в предыдущих жизнях, и они тоже порой вглядывались в его лицо, пытаясь вспомнить то, что когда-то объединяло их.

Вот идея: измученные гении валят мимо памятника Ленину из проходной.

С вечера решил — начинать. Проснулся еще раньше обычного, попил горького чаю с хлебом, закрыл форточку, чтоб не гремела улица, присел на ребро кровати.

И вдруг обнаружил себя праздно размышляющим о том, что опять потягивает картошкой из соседней квартиры, что шестьдесят рублей еще не получены, что почерк у Лены похож на старательный почерк матери, если судить по той строке.

Интересно, если предстоит возродиться снова, эта ли будет у него мать?

Между прочим, Лена забыла — или оставила нарочно? — хозяйственную сумку, с которой пришла в тот день, и, значит, имеет предлог явиться опять. Возможно, эта сумка и мешала работать. Выставил ее за дверь.

Вот уж кому не возродиться, так это ей, Лене. Простимся в этой жизни навсегда.

Ниша за окном заложена решеткой и жестью — поминутно гроыхала от шагов.

Не надо было дергать Улю за сиськи, мог получиться иной разговор.

Нет, не работалось. Что же, пуста идея?

Разорвал конверт, прочитал письмо. Как ожидал — восторги от долгой дороги, встречи, брата и внука, три страницы взахлеб. Ну, а в самом конце подарочек: "...пришли мне зеленую кофточку, шерстяные чулки, лифчик и бутылочку корвалола, здесь его в продаже нет". Вечно забудет самое необходимое; очень его рассердило это письмо. Решил, что ничего посылать не станет, обойдется, лето, а не зима впереди. Заглянул в шкаф — кофточка висела на самом видном месте, будто приготовленная к отправке, с раздражением захлопнул дверь. Даже за тысячи километров достает, мешает работать. Что за недоразумение природы его мать?

А может, не идея пуста, а душа? Такая вероятность даже обрадовала. Бог с ней, с душой, сердцем, желудком и пищеварением, все ничтожно рядом с работой и все имеет смысл только в ней.

Однако день явно пропал. Решил пойти на завод и получить, наконец, свои деньги. И сразу понял, что не сумка у порога мешает работать, не мать из Салехарда, не гроыхание шагов за окном.

По дороге заглянул в аптеку, с облегчением узнал, что корвалола нет.

Огромный город, в котором он жил, был, в сущности, маленький. И не сравнительно там с Москвой или Лос-Анджелесом — с ними как раз соизмерим, а сравнительно с этим заводом на окраине. Завод, в свою очередь, вполне соизмерим с иными заводами — меньшими, большими, но никак не с собственной проходной: тайная озабоченность возникала в лицах перед сверкающими турникетами, будто люди сомневались: пропустит? выпустит? — и явное облегчение — за, в какую бы сторону ни направлялся поток. Две равновеликие силы здесь взаимодействовали, и люди покорно отдавали свои жизни то одной, то другой.

Но сегодня третья сила влекла его на завод. Вся энергетическая мощь города ничего не стоила рядом с ней.

Он простоял у блинной четверть часа и не решился, несмотря на ту силу; пошел к проходной, но от проходной снова вернулся. "Уля! — раздался радостный крик, как только вошел, будто давно и с нетерпением ждали. — Твой пришел!" И тотчас все блинницы с надеждой кинулись к раздаточному столу, чтобы увидеть знаменитого, разглядеть прославленного, насладиться позорием нелепого кавалера. А не увидев ничего особенного, лишь только растерянного человечка с козлей бородкой, чтоб возместить разочарование, начали хохотать. "Блин ему со сметаной на голову!" Уже и за столиками прекратили жевать, пялясь на Тришку, и тоже — на всякий случай, чтоб не прозевать удовольствие, не оказаться в убытке, — смеялись. И Уля смея-

лась — с выражением гордым, заслуженным: она подарила всем это маленькое торжество.

Тришка вышел. И когда шаркал к проходной в потоке безразличных шаркающих людей, понял, почему ему не удавалась картина: ненависти не было в ней. Он хотел примириться с миром, а мир мириться с ним не хотел. Он намеревался показать, какими они, люди, были и какими могли бы стать, а их удовлетворяло то, какие есть. Хотел показать путь к новой, а может, и вечной жизни, но она, вечная, им не нужна, — только нынешняя минута, удовольствие, всеобщий и поглощающий оргазм. Что ж, надо показать толпе, что ожидает ее.

Представил их возмущение, когда закончит работу, негодование — почувствовал, что воинственные клики толпы воодушевляют его. Почувствовал, что с этой Работой он проживет еще одну, быть может, самую лучшую свою, удачную и содержательную жизнь. И, может быть, получит право на еще одну.

— Тришенька! — услышал счастливый голос и увидел сияющие птичьи глаза. — Я знала, что ты придешь! Я знала!

Лена стояла перед ним.

— Я каждый день хожу мимо твоего окна!

Кажется, она не понимала, сейчас ли кинуться на шею или немного погоды.

— Я тебя так ждала!

— Уйди с глаз, — сказал он. — Отвали.

А поскольку она не двигалась, заступив дорогу с выпученными, грязно подкрашенными глазками, отстранил рукой.

Порой он удивлялся тому, что существуют большие города. Почему люди сбиваются в новые племена, как могут жить, завидуя и ненавидя? А впрочем, — то же: в сонмищах больше зла, но больше и удовольствий. Равное наслаждение приносит и грех в оправе праведности, и праведность, оконтуренная грехом. В сонмище больше надежды перемешать эти понятия, а получив свое, запутать мерзкий след. Он, Тришка, счастливым чувствовал себя только наедине с собой. И что ему до всех них вместе и каждого в отдельности — до этой серенькой курочки, что забежала вперед и маячит на углу, в том числе?

Плачет и улыбается, вот я, на всю мою несчастную жизнь — твоя.

Что ж, пусть получит то, что заслуживает. Он направился к ней, кивнул в сторону своего дома.

— Пошли.

Слезы в бесцветных глазах — единственное, что примирило с ней.

Работа была закончена. Обыкновенно он не испытывал никакого желания показывать свои картины кому бы то ни было, давно миновало время, когда казалось важным мнение людей. Работал отнюдь не ради известности и вовсе не для того, чтобы удовлетворять чувства других. Творчество начинается там и тогда, когда художник удовлетворяет свое чувство, и кончается там, где в расчет берется хотя бы один человек.

Закончив картину, он повернул ее к стене. Работа получилась такая, что и сам он не имел права все взглядывать на нее. Уходил из дому, чтобы не оставаться наедине с ней, не думать, не вспоминать, но постоянно чувствовал, что и она ждет встречи с ним. Возвращаясь, робел и страшился: так-ва ли, как ему кажется? Не изменилась за час расставанья? Не разочарует, не изменит, не предаст?

Нет, оставалась верна. Снова поворачивал к стене, чтобы не развращаться зрелищем совершенного и не развращать ее слишком сильной привязанностью.

От той, первой идеи он отступил. В конце концов — верно: человек достоин сочувствия. Не одни свои — тысячелетние грехи наследует он и несет на плечах.

Он заложил в картину не только ненависть, но и добро. Мрачные лица наделил не свойственной им надеждой, легкомысленные — сомнением, к ко-

тому не располагало строение лица, бодрые и вечно веселые — печалью. Нет, не природу поправлял, а судьбу. Показывал людям, что они делают с человеком, и человеку — что тот делает с самим собой.

В один из этих дней вошла Лена и произнесла обычное, наскучившее: “Гениально, Тришенька, гениально”. Он вытолкнул ее в шею, потому что не имела права хвалить немощным голосом, а должна опуститься на колени и молчать.

Однако пришел день, когда захотелось показать ее, — так счастливые молодожены идут к людям, чтобы потом любить друг друга еще сильнее.

Но кому? Где тот, хотя бы отчасти достойный человек?

Мать — вот кому хотелось показать. Но она, судя по письмам, не собиралась возвращаться и только назойливо требовала кофточку и корвалол. Пусть торчит в Салехарде, если брат дороже, чем сын. Разве написал бы он эту картину, будь она рядом, здесь?

И вдруг понял, что должен сделать. Завтра открывается молодежная выставка, и он обрушит свою работу.

Конечно, правильнее было бы не осквернять ее распутным зрелищем и торжищем, представить их липучим глазам не Картину, а, к примеру, фигурку одичавшей от похоти Ули, но — надо взорвать их праздник. Пора заявить, что Он — пришел.

Выставки вошли в моду, публики было много. Много и знакомых лиц — Тришка отворачивался от них.

Как обычно, некий молодой свадебный генерал с умеренным пафосом произнес речь, перерезал ленточку. Ленточка, видимо, знак чистоты, девственности, встречи с искусством один на один. Но публика повалила в зал, как солдаты в бордель. В этой толпе Тришке ничего не стоило прощестись со своей картиной, забранной в холщовый чехол.

Со стучащим, как копер, сердцем он ворвался одним из первых, остановился в середине огромного зала, сорвал чехол и поставил ее перед собой. Сейчас, сейчас послышатся воинственные клики, начнется побоище, станет ясно, кто Он и кто — остальные, кто истинно, а кто в суете сует. Кто доктор человечеству, а кто парикмахер, кто имеет право на новую жизнь, а кто и эту получил вопреки и случайно. Ну? Подходите. Готовьте ваши старинные яды. Вот она, Работа, что будет жить, даже если Тришкины сердечные сосуды лопнут от торжества.

Публику, что является на открытие выставок, он знал хорошо. В целом она составлялась из двух видов, различавшихся прежде всего инстинктами: у одних плевательные, у других глотательные. Первые приходят пожевать и отвергнуть, вторые — пожрать, переварить и забыть.

И те и другие не понимают ничего.

И все они шли мимо него.

Нет, сказать, что вовсе не обращали внимания, нельзя, даже и останавливались на минуту. Склонялись, чтобы прочесть имя автора. “А-а, Тришка”, — будто имя что-то сообщало им.

Равно презирал и тех и других.

Но вот — вот Главный зритель! Вот кто издаст боевой клич. Сразу заметил Тришку, понял, зачем он здесь. Приблизился, остановился. Улыбнулся скромной, покорной улыбкой, которая так располагала людей. “Хорошая работа, — сказал уверенно. — Я тебя поздравляю. Человечество достойно вполне — разве не так?..”

Он говорил еще и еще. Взял под руку, приобнял за плечи. Окликал и подвигал каких-то доброжелательных, основательных людей. И все согласно кивали мудрыми головами: “Да, достойно. Вполне”.

Привлекал и случайных зрителей. “Как вы находите?” — “Интересно, — отвечали, потупившись. Боязно случайному говорить на равных с художниками. Робко поглядывали на Тришку: не добавить ли на рубль-другой еще? — Замечательно. Оригинально”.

Однако Тришка давно не слушал... Понял, что слабость, которую всегда чувствовал в душе, победила. От этой слабости и пытался объединить и примирить ненависть и любовь. А если примирится, то и примирится. И еще понял: не было никакой гениальности. Был маленький невезучий человек,

мечтавший выцарапаться из нищеты и безвестности, спасти свою ничтожную, но единственную жизнь.

Он снял картину с подрамника, аккуратно сложил вдвое, вчетверо и пошел к выходу. В первую же мусорную урну и опустил ее.

В надежной мужской компании, сгруппировавшейся у подвального магазинчика, с одним стаканом на троих он провел конец дня, потом долго пил пиво за неким сарайчиком уже в другой, еще более надежной компании и наконец прирулил домой, возглавляя третью. Долго не попадал ключом в замок и не сразу заметил листочек под дверью. Такие подсовывала Лена, и он пнул его ногой. Снова откуда-то взялись вино и водка, а среди ночи совсем уж никому не известный человек, рыжий, нечесаный и невымытый, с волосами до плеч, принес сумку пива. И никто не был пьян, все было замечательно и дружелюбно, так что даже листок на полу, напоминавший о Лене, не раздражал его. Позже он решил поглядеть, что же она сообщает ему, и поднял листок. “Катя умерла, — прочитал, — похороны в субботу”. Спрятал телеграмму, и никто ничего не заметил.

Тот рыжий, что принес пиво, любовно глядел на Тришку и все порывался что-то сказать.

— Что? — спросил Тришка.

— Я хочу показать тебе решение одной чудесной задачи: “Дама с собачкой”. Можно?

— Валяй.

Рыжий тотчас схватил лист, начал быстро исписывать его формулами.

— Вот, — сказал рыжий. — Здорово? Математический фольклор — моя слабость.

— Ты кто? — спросил Тришка.

— Математик.

— Студент?

— Нет.

Оказалось, не приняли в университет, но — тем лучше. Зачем тратить время на пустые науки? Он работал смотрителем сторожевых собак на заводе, а в свободное время решал задачи.

— Чего ты хочешь?

— Хочу доказать “Большую теорему” Ферма. XVII век.

— Ты гений? — сочувственно спросил Тришка.

— Да.

Когда рассвело, промчался первый трамвай и гости исчезли, он снова прочитал текст телеграммы. Не поверил ни одному слову. Не раздеваясь, лег, засунул голову под подушку.

Ему приснился паршивый фантастический сон: будто умерла мать. Он стоял рядом с ее братом, своим дядькой, и глядел, как ее закапывают в мерзлую землю. “Корвалол привез?” — спросил дядька. “Привез”. — “Молодец, — похвалил тот. — Бросай”. И он бросил две бутылочки в могилу. “Порядок, — сказал дядька. — Теперь твоей вины нет”.

Проснулся оттого, что звонили в дверь. По характеру звонка — она, Лена. Звонила долго, настойчиво. Потом прошуршал и прощелся под дверь листок. Через минуту увидел, что заглядывает в окно. Очень хотелось встать и показать ей кукиш. Отправилась к трамваю на тощих, как у матери, ногах.

Что-то вчера случилось? Вспомнил о телеграмме и тотчас прогнал это воспоминание. Этого не могло быть.

Попил крепкого чаю, завесил окно шторой. Подумал и завесил поверху одеялом. Отключил провода звонка. Закрыв дверь на два оборота ключа.

Так вот и будет жить, пока она не вернется, не шмыгнет на пороге простуженным носом: “Вот и я, Тришенька. Как ты здесь, без меня?”

Тогда и начнет, может быть, снова работать. Напишет что-нибудь действительно простое и хорошее, единственно ради того, чтобы подтвердить ее веру: он — Гений. И еще ради того, чтоб встретиться с ней в новой жизни.